

Преодоление того, что с легкой руки Сергея Николаевича Чернова у историков ленинградской (Я.С. Лурье называет ее петербургской), а затем и всей советской исторической школы получило наименование «потребительского отношения к источнику»<sup>1</sup>, связывается исключительно с методикой, предложенной на рубеже XIX-XX вв. А.А. Шахматовым. Ее принято характеризовать то как сравнительно-текстологический, то как сравнительно-исторический, то как историко-текстологический, то как историко-филологический метод, то как метод логически-смыслового анализа. Согласно ей, единственной гарантией получения достоверного знания служит предварительный текстологический анализ источника. Начиная с работ А.Е. Преснякова и М.Д. Приселкова<sup>2</sup> именно текстологическому анализу (как бы он ни назывался) все чаще отводится роль едва ли не основного источниковедческого метода<sup>3</sup>. Показательна в этом отношении оговорка одного из ведущих современных исследователей позднего русского летописания – критикуя «представление о недостаточности собственно источниковедческих методов», В.Г. Вовина-Лебедева добавляет: «главным из которых в русской, да и вообще в европейской науке признавался сравнительно-текстологический метод»<sup>4</sup>. Мало того, многими исследователями летописеведение рассматривается фактически как часть текстологии<sup>5</sup>. Недаром в последние годы едва ли не все крупные исследования по истории древнерусского летописания если и не сводятся полностью к текстологическому анализу, написаны в рамках упомянутой научной парадигмы<sup>6</sup>.

Видимо, за подобной точкой зрения чаще всего скрывается не вполне осознанное отождествление текстологических и источниковедческих процедур: анализа списка с тем, что принято называть внешней критикой источника, изучения собственно текста – с его внутренней критикой, а интерпретации литературного произведения (и текста источника как литературного произведения) – с исторической реконструкцией. Между тем, процедуры эти различны, и между ними существует некий «зазор».

Не вполне ясное ощущение этого разрыва между текстологией и источниковедением, скорее всего, и послужило основанием для прямо противоположной точки зрения, не нашедшей, впрочем, поддержки у большинства исследователей<sup>7</sup>.

Однако, ни сторонники расширительного толкования функций текстологии в источниковедческом исследовании, ни их противники не уточняют, как и в какой степени результаты изучения истории текста влияют (и влияют ли вообще) на его интерпретацию.

Скажем, совершенно неясно, следует ли учитывать при истолковании выявленные в ходе текстологического анализа цитаты, инкорпорированные в исследуемый текст. «По умолчанию», считается, что их надо элиминировать из «первичного» текста. Так, обнаружив безусловные текстуальные параллели в летописном рассказе об ордынском нашествии с Поучением о казнях Божиих, читаемых в Повести временных лет, один из самых авторитетных современных российских историков В.А. Кучкин утверждает, что эти параллели «представляют значительный интерес для суждений об источниках новгородского свода 30-х годов XIV в. или его протографов, но не для суждений о том, как понимал и оценивал иноземное иго новгородский летописец... Детальный анализ цитаты вскрывает уже не мысли людей XIII-XIV вв., а идеи XI столетия»<sup>8</sup>. Между тем, сам факт использования «идей XI столетия» для описания, а, самое главное, для оценки произошедшего в XIII в., несомненно, свидетельствует о схожести – для автора и «актуальных» (для него) читателей анализируемого текста – самих событий и их оценок.

Столь же неясно, как быть с текстами, источники которых установить не удается.

Недаром исследователи раннего отечественного летописания время от времени «ударяются» в поиски ранних протографов Повести временных лет. Так, пытаясь выявить летописные памятники X в., на которые якобы опирались составители Повести временных лет и предшествующих ей сводов XI в., М.Н. Тихомиров и Б.А. Рыбаков привлекали летописи XVI в., содержащие своеобразные (отсутствующие в Повести) известия о древнейшем периоде, – Устюжский свод и Никоновскую летопись<sup>9</sup>. Вопрос о том, можно ли рассматривать «избыточные известия» В.Н. Татищева в качестве исторического источника, имеет столь обширную историографию, что сколько-нибудь полный анализ ее в данном случае просто

невозможен<sup>10</sup>. Или – последний по времени пример – использование в докторской диссертации Ю.Д. Акашева<sup>11</sup> Иоакимовской летописи XVII в.<sup>12</sup>

Без этого придется признать (как это делал М.Н. Тихомиров, критикуя, правда, не свои выводы – Д.С. Лихачева), что если относить начало русского летописания к XI в., то окажется, что «вся древнейшая история Руси фактически представляет собой пересказ различного рода преданий, а тем самым и достоверность сведений по истории Руси первой половины XI века снижается до крайности. Какую ценность как исторический источник может иметь, например, рассказ о княжении Игоря, если он записан более чем за 100 лет после описываемого в нем события?»<sup>13</sup>. Именно отсюда берут свое начало мифические «Сказания о первоначальном распространении христианства», «Сказание о русских князьях X в.», «Повесть о начале Руси», летописи Осколда и Ярослава Святославовича, древлянская летопись, свод Владимира и другие гипотезы, не находящие текстологического обоснования<sup>14</sup>. Их авторы, говоря словами Я.С. Лурье, «невольно возвращаются к дошахматовским методам разложения летописных сводов на отдельные элементы»<sup>15</sup>. Вот откуда – а вовсе не из текстологических наблюдений – неодолимое стремление непременно учуять дух русского фольклора, народных преданий, «устных летописей» в ранних летописных сообщениях<sup>16</sup>.

Все это – проявления определенного кризиса традиционного «понимания» (или, лучше сказать, традиционного недопонимания или даже полного непонимания) древнерусских летописей и древнерусских источников вообще, основывающегося на классическом текстологическом анализе. До какого-то момента такой подход вполне себя оправдывал. В значительной степени он не потерял своего значения и по сей день. Именно благодаря ему мы имеем развернутый историографический нарратив, посвященный Древней Руси. Однако все чаще исследователи сталкиваются с тем, что он – как и любой другой подход – имеет свои ограничения. И их уже нельзя игнорировать.

Критические замечания в адрес так называемой шахматовской методики, сводящей источниковедческий анализ к текстологии, звучали уже не раз. И если оппоненты-филологи, как правило, ставили в упрек даже самому А.А. Шахматову отход в его историко-литературных построениях от «чистой» текстологии, то историки, напротив, полагали, что великий исследователь слишком узко подходил к летописям – вне той исторической среды, которая их породила.

Так, с одной стороны, В.М. Истрин вполне справедливо отмечал, что многие построения А.А. Шахматова далеко не всегда основывались на собственно текстологических наблюдениях<sup>17</sup>. Эта мысль позднее получила развитие. Так, один из наиболее «ортодоксальных» современных последователей А.А. Шахматова, Я.С. Лурье подчеркивал: «датировка Древнейшего свода, предложенная А.А. Шахматовым, имела предположительный характер, и реконструкция этого свода лишь в небольшой части опиралась на сравнительно-текстологические данные»<sup>18</sup>. Этот же исследователь подчеркивал: «примером шахматовских «больших скобок» можно считать его гипотезу о «Полихроне Фотия» 1423 г. – общем источнике свода 1448 г. ..., Ермолинской летописи и Хронографа. Исследованиями последних десятилетий установлено, что и Ермолинская и Хронограф восходили не к «Полихрону Фотия», а к сводам второй половины и конца XV в.; предположение о «Полихроне Фотия» лишается поэтому [?! – И.Д.] своей текстологической основы»<sup>19</sup>.

С другой стороны, например, В.Т. Пашуто<sup>20</sup> считал, что А.А. Шахматов неправомерно сводит исторические условия, породившие летописи, лишь к «литературной среде» – «тому составу сборников и сводов, где обретаются эти своды»<sup>21</sup>. Из этого делался очень важный вывод: «Отдельные попытки Шахматова дать какое-либо смысловое объяснение полученным им чисто механическим путем построениям были произвольны как в деталях, где он широко применял конъектуральную критику, стремясь к «естественному истолкованию» «простого смысла»<sup>22</sup> текста, в отрыве от общей тенденции источника, в составе которого он сохранился, так и в целом»<sup>23</sup>. При этом, естественно, подразумевалось, что «общая тенденция источника» заведомо известна любому мало-мальски квалифицированному историку-марксисту. Позднее эти критические положения В.Т. Пашуто были поддержаны и развиты<sup>24</sup>. Скажем, А.Г. Кузьмин завершил критический анализ методологических подходов к изучению раннего летописания следующим пассажем: «Формальное сопоставление текстов всегда имеет тенденцию к

замыканию их «в искусственном мире самодвижения редакций и разночтений»<sup>25</sup>. Достоверные данные из текстов могут быть получены при условии, если сравнение постоянно соразмеряется с той общественно-исторической средой, в которой возникли и обращаются изучаемые памятники. Встречая сходные описания, говорит Б.А. Рыбаков, исследователь «обязан убедиться в невозможности возвести их к жизни и лишь после этого говорить о литературном воздействии»<sup>26</sup>. Именно установление связи между текстом и породившей его общественной средой должно составлять основное содержание летописеведческого исследования. Безусловно, это несравнимо более сложная задача, чем констатация фактов текстуального расхождения и сходства. Но без ее решения текст не может быть даже «правильно прочитан»<sup>27</sup>.

Обращает на себя внимание, что подобная критика шахматовской методологии явно неудовлетворительна, поскольку «правильное» прочтение самого источника и установление его «общей тенденции» либо сводятся к результатам формально-текстологического сопоставления (без объяснения, как данные текстологии можно «перевести» в общую характеристику источника<sup>28</sup>), либо предшествуют собственно научному изучению его текста.

Попытку выбраться из этого порочного круга недавно предпринял С.Я. Сендерович. Он предложил свой «выход за пределы шахматовской перспективы в рамках научной методологии», в котором «господствует не генетическая система отношений, а контекстуальная: внутренний анализ летописных текстов здесь включается в интертекстуальную перспективу»<sup>29</sup>. «Контекстуальный подход», по определению его автора, «нацелен прежде всего на поиски интегральной перспективы, поиски того, что составляет основу единства разнообразных текстов в рамках свода, что делает их участниками единой работы»<sup>30</sup>.

Такой перспективой для летописных текстов, по мнению С.Я. Сендеровича (с которым в данном случае трудно не согласиться), является Священное Писание: первый летописец, «как и всякий средневековый писатель, – экзегет». «Его источники: во-первых, Священная История, во-вторых, греческие хронографы». «Его задача заключается в том, чтобы события жизни его собственного народа подключить к универсальной, то есть христианской истории, таким образом подключить ее к историографической традиции, извлечь из области внеисторического бытия и баснословия и, собственно, сделать историей». «Чтобы стать летописцами, они [«зачинатели русского летописания»] должны прежде всего быть теологами и историософами»<sup>31</sup>. «Те источники, по которым они учились тому, что такое история, – это доступные им книги Священной Истории евреев или отрывки из них, Толковые Пророчества отцов церкви и греческие хроники и хронографы, передающие Священную Историю и ее продолжение, а также Деяния и Послания апостолов, где толкуются проблемы подключения к истории новой ее ветви. В этом же ряду находится и традиция апостолов славян Кирилла и Мефодия. Во всех этих источниках историософия и историография предстают как истолкование событий на основе Священного Писания, то есть в качестве экзегезы». «Тут нельзя не быть теологом», – заключает С.Я. Сендерович<sup>32</sup>.

Приведенные рассуждения, безусловно, логичны и по сути, скорее всего, правильны. Настораживает, однако, вполне ощутимый априоризм предлагаемого подхода. Как и в советский период, когда летописец «не должен был быть» «церковником» (даже если он, вне всякого сомнения, был монахом), теперь – он просто обязан («не может не») быть «теологом». Между тем, и это – последнее – предположение (как и предыдущее ему) сначала надо доказать. Иначе оно в научном плане выглядит ничуть не лучше позиции, критикуемой С.Я. Сендеровичем. К тому же, круг чтения летописца и его «актуального» читателя должен быть определен более точно. Мало того, необходимо выяснить (и, опять-таки, доказать), что из доступной им литературы они читали – да еще и понять, как читали: что из нее «вычитывали» и как это «вычитанное» понимали<sup>33</sup>. Поэтому «интертекстуальный»<sup>34</sup> подход, пропагандируемый С.Я. Сендеровичем (при том, что он – в плане ментальных структур – представляется в принципе более корректным, чем подход к летописанию и летописцу, скажем, Д.С. Лихачева), оказывается столь «тотальным», что методически проигрывает традиционному «шахматовскому» подходу. Предлагаемый же исследователем «нативистский план» Повести временных лет представляется не более чем очередной спекуляцией<sup>35</sup> (хотя и достаточно остроумной). До тех пор, пока не будут предложены принципы редукции подобных

методологических оснований в конкретную методику, позволяющую получать верифицируемые результаты, «контекстуальный подход» (при всей его соблазнительности) не может конкурировать с методом А.А. Шахматова. А всякая попытка разработки подобной методики, видимо, неизбежно – поскольку единственной реальностью, непосредственно доступной историку, были и остаются тексты – заставит вновь обратиться к текстологии: единственной дисциплине, результаты которой так или иначе можно проверить. Вопрос, судя по всему, «лишь» в том, что понимать под текстологией.

---

Видимо, настало время поставить вопрос о пределах использования «филологической» текстологии и разработке текстологии «исторической», которая отличается от первой целями и функциями. Подобно ей, она будет заниматься установлением (в специальном смысле этого термина) текстов и их генеалогией, а также выявлять источники, на которые опирались авторы и редакторы анализируемого произведения. В то же время, в отличие от текстологии «филологической», основная цель ее, видимо, должна состоять не в определении «канонического» текста или «последней воли автора» (что необходимо литературоведам для подготовки публикации данного произведения<sup>36</sup>), а в реконструкции генеалогии текста источника как таковой. И здесь на помощь историку приходят методы так называемой генетической критики, разрабатываемой во Франции в течение последних тридцати лет<sup>37</sup>.

«Традиционный» текстологический анализ опирается на признание текста летописи произведением (при всех оговорках и условностях применения этого термина по отношению к древнерусскому источнику вообще и летописи в частности<sup>38</sup>). Именно такое признание – осознается это или нет – лежит в основе шахматовской методики изучения текстов<sup>39</sup>. В таком виде – как законченный на некотором этапе текст – летопись стала объектом структурного анализа, одним из воплощений которого и является анализ текстологический.

Между тем, любое древнерусское произведение практически всегда предстает перед исследователем во множестве вариантов, не совпадающих в точности друг с другом. Такая вариативность обычно трактуется как последовательное изменение текста, связанное с его многократным переписыванием. Однако точно на таких же основаниях вполне можно полагать, что перед нами – определенная последовательность своеобразных черновиков текста произведения, ни один из которых не претендовал на «каноничность». Каждое изменение в предшествующем тексте – еще один «авторский» вариант, «проба пера». Каждое дополнение или, напротив, сокращение текста вполне сопоставимо с той работой, которую современный нам автор ведет над своей рукописью. В летописании эта черта древнерусской литературы проступает, пожалуй, наиболее наглядно. Недаром Д.С. Лихачев совершенно справедливо подчеркивал: «летопись фактически не имеет конца; ее конец в постоянно ускользающем и продолжающемся настоящем»<sup>40</sup>.

Такая постановка вопроса позволяет нам вновь – после А.А. Шахматова – уйти (на время) от восприятия летописного свода как законченного произведения. Для этого достаточно признать, что любой список летописи не дает нам полного представления о данном произведении в полном смысле слова. Он – лишь набросок, черновик, правка промежуточного текста, отличная от того вида, в котором летопись должна была предстать перед своим основным, окончательным Читателем. Подобный взгляд на летописание позволяет использовать для его исследования постструктуралистскую методологию, на которой, в частности, и базируется генетическая критика.

По определению одного из создателей этого направления, «противостоя текстовой закрытости и неподвижности структурализма, от которого она, однако, унаследовала методы анализа и размышления о текстуальности, вступая в спор с рецептивной эстетикой, которая занимается восприятием текстов, а не их созданием, генетическая критика принесла с собою новый взгляд на литературу. Ее предмет – литературные рукописи, в той мере, в какой они содержат следы развития, становления текста. Ее метод – обнажение плоти и процесса письма, а также построение целой серии гипотез о самой письменной деятельности. Ее цель: описать литературу как делание, деятельность, движение»<sup>41</sup>. «Генетисты» на основании

анализа «видимых следов действия творческого механизма» – максимально доступного исследователю числа рукописей произведения, «разложенных в определенном порядке», – пытаются реконструировать «предысторию» текста.

Генетическая критика основывается на данных и методах классической текстологии, – но не ограничивается ими. Последовательные этапы развития текста, установленные текстологически, становятся основой генетического досье<sup>42</sup>: подборки последовательных вариантов, «выписок» цитат, сокращений, дополнений и вообще любой правки «исходного» текста. Причем это досье всегда будет заведомо неполным<sup>43</sup>, поскольку значительная часть его утрачена по разным причинам (и прежде всего, потому, что никто не собирался хранить его). На основе генетического досье воссоздается авантекст<sup>44</sup> произведения – «его новое синтетическое прочтение, реконструирующее последовательность генезиса»<sup>45</sup>. По сути, авантекст представляет собой реконструкцию генезиса текста источника. Важным элементом этого процесса воссоздания логики формирования текста является постоянная проверка того, подтверждается ли рабочая гипотеза исследователя на всем пространстве авантекста или лишь в отдельных его частях.

Таким образом, генетическая критика фактически ставит перед собой ту задачу, которую Ф. Шлейермахер называл собственно пониманием: реконструировать сам процесс репрезентации образа, формулирования мысли, скрытых в готовом тексте, с которым имеет дело интерпретатор<sup>46</sup>. Тем самым генетическая критика закрывает лауну, отмеченную нами, – между классической текстологией (которая идет от списка к тексту, а от него – к произведению) и источниковедением (которое движется параллельно текстологическому анализу, но не совпадает с ним: от «внешней» критики источника к его «внутренней» критике и, наконец, к интерпретации текста источника, завершающейся исторической реконструкцией). Связующим звеном в этой цепи и оказывается генетическая критика. Основываясь на результатах текстологических наблюдений, она гипотетически реконструирует сам процесс создания текста, двигаясь от его внешней формы к форме внутренней, а от нее (учитывая память контекста тех «выписок» и цитат, которые дополняют и развивают исходный текст, либо его «вычеркнутых» фрагментов) – к реконструкции самого образа события<sup>47</sup>, стоящего «за» текстом источника. Именно на «генетическом» (а не на собственно текстологическом) уровне становится возможной реконструкция «общей характеристики» и замысла произведения, что, как известно, является обязательным предварительным условием использования его в качестве исторического источника.

Анализ имманентного развития смысловых структур и потенциалов каждого сюжета или сообщения – наряду с контекстуальным анализом цитат, которые использует (не может не использовать при общем ценонно-парафразном – «компилятивном» – способе «производства» древнерусского текста) автор в своих описаниях, – позволяет добраться до общего смысла, понимания текста источника. Подобная методика, кажется, ближе всего стоит к тому, что Жак Деррида называет деконструкцией текста (хотя и не полностью с ней совпадает): «разборка концептуальных оппозиций, поиск «апорий», моментов напряженности между логикой и риторикой, между тем, что текст «хочет сказать», и тем, что он «принужден говорить»<sup>48</sup>.

Текстология должна занять подобающее ей место в гуманитарном исследовании. Это значит: не только определить область ее «юрисдикции», компетенции и приоритетов, но и указать сферы, в которые она вторгаться не может и не имеет права – в частности, для историков, в вопросе преодоления так называемого «потребительского отношения к источнику». Полагаю, только двойное – «систематическое» и «несистематическое», «извне» (текстологическое) и «изнутри» (генетическое) – прочтение древнерусских источников позволит ближе подойти к пониманию их текстов, сделать следующий после А.А. Шахматова шаг в научном изучении древнерусского летописания как исторического источника и, главное, сделает выводы максимально верифицируемыми.

Якорь: #prim



1. По словам Я.С. Лурье, «в печати этот термин, употреблявшийся в повседневном научном общении 20-30-х годов, появился лишь один раз. В 1934 г. при обсуждении доклада Б.Д. Грекова «Рабство и феодализм в древней Руси» С.Н. Чернов заметил: «Если подойти к тому, как Б.Д. Греков пользуется источниками, я бы сказал (пусть не обидится на меня Б.Д.), что его отношение к ним в известной мере потребительское. Б.Д. имеет перед собой источник и ограничивается тем, что просто потребляет его, совсем не интересуясь тем, как он приготовлен в своем целом и в своих частях» [Известия Гос. Академии истории материальной культуры. М.; Л., 1934. Вып. 86. С. 111-112]» (Лурье Я.С. Предисловие // Приселков М.Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб., 1996. С. 29; курсив мой. — И.Д.). Более подробное объяснение того, что представляет собой «потребительское отношение» к источнику, дал чуть позднее М.Д. Приселков: «если историк, не углубляясь в изучение летописных текстов, произвольно выбирает из летописных сводов разных эпох нужные ему записи, как бы из нарочно для него заготовленного фонда, т. е. не останавливает своего внимания на вопросах, когда, как и почему сложилась данная запись о том или ином факте, то этим он, с одной стороны, обессиливает запас возможных наблюдений над данным источником, так как определение первоначального вида записи и изучение ее последующих изменений в летописной традиции могли бы дать исследователю новые точки зрения на факт и объяснить его летописное отражение, а, с другой стороны, при этом историк нередко может попасть в то неловкое положение, что воспримет факт неверно, т. е. в его московской политической трактовке, через которую прошло огромное количество дошедших до нас летописных текстов» (Приселков М.Д. История русского летописания XI-XV вв. С. 36; курсив мой. — И.Д.).
2. Приселков М.Д. Рецензия на книгу Вл. Пархоменко «Начало христианства Руси» // ИОРЯС. СПб., 1914. Т. 19. Кн. 1; Приселков М.Д. Русское летописание в трудах А.А. Шахматова // ИОРЯС за 1920 г. Пг., 1922. Т. 25; Пресняков А.Е. А.А. Шахматов в изучении русских летописей // Там же.
3. Приведу всего лишь одно характерное высказывание последних лет: «игнорировать результаты сравнения доступных нам летописей, «потребительски» использовать летописные рассказы «как таковые», без учета параллельных текстов и летописной генеалогии, нельзя – это неизбежно приводит к произвольности и неубедительности выводов, основанных на таких построениях» (Лурье Я.С. Две истории Руси XV века: Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. С. 13).
4. Вовина-Лебедева В.Г. К вопросу о методах исследования нарративных текстов // ОИ. 2002. № 4. С. 124. При этом как-то «само собой» забывается, что исследователи так и не смогли договориться относительно того, что же, собственно, представляет собой метод текстологии (Ср., например: Лихачев Д.С. По поводу статьи Б.Я. Букштаба // Русская литература. 1965. № 1. С. 84; Прохоров Е. Предмет, метод и объем текстологии как науки // Русская литература. 1965. № 3. С. 149; Азбелев С.Н.

- Текстология как вспомогательная историческая дисциплина // ИСССР. 1966. № 4. С. 91, и др.).
5. Ср.: Лихачев Д.С., Янин В.Л., Лурье Я.С. Подлинные и мнимые вопросы методологии изучения русских летописей // ВИ. 1973. № 8. С. 197; Черепнин Л.В. Спорные вопросы изучения Начальной летописи в 50-70-х годах // ИСССР. 1972. № 4. С. 52-53 и др.; Черепнин Л.В. К вопросу о методологии и методике источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин // Источниковедение отечественной истории. М., 1973. Вып. 1. С. 54-60, и др.
  6. Муравьева Л.Л. Московское летописание второй половины XIV – начала XV века. М., 1991; Лурье Я.С. Две истории Руси XV века; Бобров А.Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001, и др. Симптоматично и переиздание классических работ как самого А.А. Шахматова (Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М.; Жуковский, 2001), так и наиболее последовательного его ученика, М.Д. Приселкова (Приселков М.Д. История русского летописания XI-XV вв.).
  7. Ср.: «...Текстологии может быть оставлена лишь формальная классификация списков и редакций, установление формальных взаимоотношений текстов, выявление формальных особенностей их, причем содержательный смысл всех установленных отличий может быть понят лишь в рамках историко-филологических наук» (Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 22-23). При этом, правда, оставалось неясным, что имеется в виду под «историко-филологическими науками».
  8. Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников: XIII – первая треть XIV в. // Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн: X – начало XX в.: Сб. науч. трудов. М., 1990. Вып. 1. С. 24, 61 (прим. 49).
  9. Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // ВИ. 1960. № 5. С. 43-48, 51-52; Рыбаков Б.А. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 160-173.
  10. Назову лишь некоторые из работ, посвященных этой проблеме: Шахматов А.А. К вопросу о критическом издании «Истории Российской» В.Н. Татищева // Дела и дни. Пг., 1920. Вып. 1. С. 94-95; Пештич С.Л. О «договоре» Владимира с волжскими болгарами 1006 года // ИЗ. Т. 18. С. 327-335; Тихомиров М.Н. О русских источниках «Истории Российской» В.Н. Татищева // Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 39-53 (перепечатка в сб.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. С. 66-83); Валк С.Н. «Вельможи» в «Истории Российской» В.Н. Татищева // ТОДРЛ. Л., 1969. Т. 24: Литература и общественная жизнь Древней Руси. С. 349-352; Сазонова Л.И. Летописный рассказ о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 г. в обработке В.Н. Татищева // ТОДРЛ. М.; Л., 1970. Т. 25: Памятники русской литературы X-XVII вв. С. 29-46; Добрушкин Е.М. О двух известиях «Истории Российской» В.Н. Татищева под 1113 г. // ВИД. Л., 1970. Вып. 3. С. 284-290; Добрушкин Е.М., Лурье Я.С. Историк – писатель или издатель источников? К выходу в свет академического издания «Истории Российской» В.Н. Татищева // Русская литература. 1970. № 2. С.

- 221-222; Кузьмин А.Г. Был ли В.Н. Татищев историком? // Русская литература. 1971. № 1. С. 58-63; Лихачев Д.С. Можно ли включать «Историю Российскую» Татищева в историю русской литературы? // Там же. С. 65-66; Рыбаков Б.А. В.Н. Татищев и летописи XII в. // ИСССР. 1971. № 1. С. 91-109; Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 184-276; Кузьмин А.Г. Статья 1113 г. в «Истории Российской» В.Н. Татищева // Вестник Московского университета (История). 1972. № 5. С. 79-89; Добрушкин Е.М. К вопросу о творческой лаборатории В.Н. Татищева // Вопросы историографии и источниковедения. Казань, 1974. С. 131-138; Добрушкин Е.М. К вопросу о происхождении сообщений «Истории Российской» В.Н. Татищева // ИЗ. Т. 97. С. 281-287; Добрушкин Е.М. К изучению творчества В.Н. Татищева как писателя русской истории: Древнерусский «обычай» в «Истории Российской» // XVIII век. Л., 1974. Вып. 9: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII в. С. 149-167; Добрушкин Е.М. О методике изучения «татищевских известий» // Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. 1976. М., 1977. С. 76-96, и др.
11. Акашев Ю.Д. Историко-этнические корни русского народа. М., 2000.
  12. Еще в XIX в. было надежно установлено, что данная летопись, сохранившаяся лишь в «цитатах» В.Н. Татищева, представляет собой позднейшую компиляцию из русских и иностранных известий с присоединением литературных, подчас баснословных «украшений», характерных для XV и особенно XVI-XVII вв. Этот вывод впоследствии был подтвержден С.К. Шамбинаго (Шамбинаго С.К. Иоакимовская летопись // ИЗ. 1947. Вып. 21. С. 254-270) и С.Н. Азбелевым (Азбелев С.Н. Новгородские летописи XVII в. Новгород, 1960, и др.). Поэтому полагать, что совершенно мифический рассказ о вещем сне «князя» Гостомысла о будущем рождении у его дочери Умилы сына, наследующего Гостомыслу, является следом осознания и легитимации нового порядка наследования в Древней Руси, по меньшей степени, наивно. Перед нами – вольное переложение геродотовой легенды о предсказании рождения Кира: сон Астиага о том, как из чрева его дочери Манданы выросла виноградная лоза (Геродот. I, 108).
  13. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР: Учеб. пос. [2-е изд.] М., 1962. Вып. 1: С древнейших времен до конца XVIII века. С. 66.
  14. Черепнин Л.В. Повесть временных лет, ее редакции и предшествующие ей летописные своды // ИЗ. 1948. Вып. 25; Тихомиров М.Н. Начало русской историографии. С. 56; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 187 и 190-192.
  15. Лурье Я.С. Изучение русского летописания // ВИД. Л., 1968. Вып. 1. С. 30.
  16. Так, в рассказе о «чудовищной мести» Ольги Б.А. Рыбаков ощущает «древлянский дух» (Б.А. Рыбаков. Древняя Русь. С. 180-181). Более убедительным представляется истолкование этого рассказа как фольклорного в своей основе повествования, прославляющего мудрость Ольги (ср.: Лихачев Д.С. Русские летописи. С. 132-137).
  17. См.: Истрин В.М. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906. I-V. С. 153, 165, 173-174 и др.



18. Лурье Я.С. О шахматовской методике исследования летописных сводов // Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. 1975. М., 1976. С. 97.
19. Там же. С. 101.
20. Пашуто В.Т. А.А. Шахматов – буржуазный источниковед // ВИ. 1952. № 2. С. 61; Пашуто В.Т. Некоторые общие вопросы летописного источниковедения // Источниковедение отечественной истории. М., 1973. Вып. 1. С. 72.
21. Шахматов А.А. Отзыв о сочинении С.К. Шамбинаго «Повести о Мамаевом побоище» // Отчет о XII присуждении премии митрополита Макария. СПб., 1910. С. 84-85.
22. См.: Шахматов А.А. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни // Научный исторический журнал. СПб., 1914. Т. 2. Вып. 2. № 4. С. 32 [ссылка В.Т. Пашуто].
23. Пашуто В.Т. А.А. Шахматов – буржуазный источниковед. С. 62.
24. Например: Черепнин Л.В. Спорные вопросы изучения Начальной летописи в 50-70-х годах // ИСССР. 1972. № 4; Кузьмин А.Г. Спорные вопросы методологии изучения русских летописей // ВИ. 1973. № 2; Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. С. 5-54, и др.
25. Воронин Н.Н. «Анонимное» сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 14 [ссылка А.Г. Кузьмина].
26. Рыбаков Б.А., Филин Ф.П., Кузьмина В.Д. Старые мысли, устарелые методы: Ответ А.А. Зимину // Вопросы литературы. 1967. № 3. С. 158 [ссылка А.Г. Кузьмина].
27. Кузьмин А.Г. Начальные этапы. С. 53-54.
28. В этом отношении любопытно замечание С.Я. Сендеровича: «Шахматов, хотя и обладал отличной интуицией относительно характера находившегося перед ним текста, никогда не анализировал тексты в качестве литературных целостностей» (Сендерович С.Я. Метод Шахматова, раннее летописание и проблема начала русской историографии // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1: Древняя Русь. С. 472).
29. Сендерович С.Я. Метод Шахматова. С. 476.
30. Там же. С. 477.
31. Позволю себе напомнить, что сама такая постановка вопроса радикально расходится с отечественной историографической традицией последнего полувека. По определению Д.С. Лихачева, «летописец не так уж часто руководствовался своей философией истории, не подчинял ей целиком повествование, а только внешне присоединял свои религиозные толкования тех или иных событий к деловому и в общем довольно реалистическому рассказу о событиях», поэтому якобы «религиозные воззрения... не пронизывали собою всего летописного изложения» (Лихачев Д.С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк // Повесть временных лет. [2-е изд.] СПб., 1996. С. 297; ср.: Лихачев Д.С. Литература – реальность – литература. Л., 1981. С. 129-130). Эта точка зрения настолько укоренилась в сознании многих (если не большинства) российских гуманитариев, что специфика даже заведомо «конфессиональных» текстов, таких как «Сказание о чудесах Владимирской иконы» или житие Леонтия

- Ростовского, видится им «не в «церковности», как считают некоторые исследователи», а в «светском, государственно-политическом пафосе их отличающем». При этом прямо говорится, что «Сказание о Леонтии Ростовском», «несмотря на агиографический жанр, ... пронизано светскими темами» (Филипповский Г.Ю. Столетие дерзаний: Владимирская Русь в литературе XII в. М., 1991. С. 76).
32. Сендерович С.Я. Метод Шахматова. С. 477-478.
33. При этом надеяться, что в распоряжении историка, занимающегося историей Древней Руси, окажется комплекс источников, подобный тому, который позволил в свое время К. Гинзбургу выяснить, что и, главное, как читал Меноккио, – не приходится.
34. Напомню: сам термин «интертекстуальность» был предложен Юлией Кристевой: «Мы назовем интертекстуальностью эту текстуальную интеракцию, которая происходит внутри отдельного текста. Для познающего субъекта интертекстуальность – это понятие, которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в нее» (Kristeva Y. La révolution du langage poétique: L'avant-garde la fin du XIX-e siècle. P., 1974. P. 443). В свою очередь, интертекст представляется как «своеобразная база знаний, лежащая в основе произведения» (Миттеран А. Генетический метатекст в «Набросках» Эмиля Золя // Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. С. 246).
35. Ср.: «Продемонстрированный план возможно обнаружить только в культурно-исторической перспективе, выходящей за рамки собственно русской истории, то есть путем включения русской истории в тот контекст, в котором она возникла именно как культурная история» (Сендерович С.Я. Метод Шахматова. С. 494). Очевидно, такое «включение» не требует от историка предварительного «внутреннего» анализа источника – достаточно определить время и место его возникновения.
36. Ср.: «Считалось, что изучение рукописей ограничивается «добыванием» текста памятника, наиболее близкого авторскому оригиналу..., который должен быть положен в основу издания» (Лихачев Д.С. Текстология: На материале русской литературы X-XVII вв. 2-е изд., перераб. и доп. Л., 1983. С. 25). Д.С. Лихачев категорически отказал «современной» текстологии в подобной цели. Однако тут же он неоднократно – в иных формах – вынужден вернуться к ней: «текстология ставит себе целью изучить историю текста памятника на всех этапах его существования в руках у